



АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ

МАРИЕНГОФ



АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ
МАРИЕНГОФ



Роман без вранья



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М26

Серия «Русская классика»

Серийное оформление и дизайн обложки *Р. Алеева*

Мариенгоф, Анатолий Борисович.

М26 Роман без вранья : [сборник] / Анатолий Борисович Мариенгоф. — Москва : Издательство АСТ, 2026. — 512 с. — (Русская классика).

ISBN 978-5-17-179229-9

«Роман без вранья» — труд, одним из центральных героев которого стал Сергей Есенин — лучший друг и соратник Мариенгофа, фигура, без которой неммыслима русская литература XX века. Это не просто мемуарная проза, это книга о настоящих, живых людях, о жизни целого поколения поэтов и писателей, творивших в эпоху судьбоносных для России перемен. Это честная и искренняя история о настоящей дружбе и предательстве, мире артистов и писателей, любви к родине...

В сборник также вошли произведения «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги» и «Без фигового листочка».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-179229-9

© А. Б. Мариенгоф, наследники, 2026
© ООО «Издательство АСТ», 2026



Роман без вранья



В Пензе у меня был приятель: чудака-человек. Поразил он меня с первого взгляда бряцающими (как доспехи, как сталь) целлулоидовыми манжетами из-под серой гимназической куртки, пенсне в черной оправе на широком шнуре и длинными поэтическими волосами, свисающими как жирные черные сосульки на блистательный целлулоидовый воротничок.

Тогда я переводился в Пензенскую частную гимназию из Нижегородского дворянского института.

Нравы у нас в институте были строгие — о длинных поэтических волосах и мечтать не приходилось. Не сходишь, бывало, недельку-другую к парикмахеру, и уж ловит тебя в коридоре или на мраморной розовой лестнице инспектор. Смешной был инспектор — чех. Говорил он (произнося мягкое «л» как твердое, а твердое мягко) в таких случаях всегда одно и то же:

— Древние греки носили длинные вольсы для красоты, скифы — чтобы устрашать своих врагов, а ты для чего, малчик, носишь длинные вольсы?

Трудно было в нашем институте растить в себе склонность к поэзии и быть баловнем муз.

Увидев Женю Литвинова — целлулоидовые его манжеты и поэтическую шевелюру, сразу я понял, что суждено в Пензенской частной гимназии пышно расцвести моему стихотворному дару.

У Жени Литвинова тоже была страсть к литературе — замечательная страсть, на свой особый манер. Стихов он не писал, рассказов также, книг читал мало, зато выписывал из Москвы почти все журналы — толстые и тонкие, альманахи и сборнички, поэзию и прозу, питая особую склонность к «Скорпиону», «Мусагету» и прочим такого же сорта самым деликатным и модным тогда в столице издательствам. Все, что получалось из Москвы, расставлялось им по полкам в неразрезанном виде. Я захаживал к нему, брал книги, разрезал, прочитывал — и за это относился он ко мне с большой благодарностью и дружбой.

Жене Литвинову и суждено было познакомить меня с поэтом Сергеем Есениным.

Случилось это летом тысяча девятьсот восемнадцатого года, то есть года через четыре после моего появления в Пензе. Я успел окончить гимназию, побывать на германском фронте и вернуться в Пензу в сортире вагона первого класса. Четверо суток провел бодрствуя на стульчаке и тем возбуждая зависть в товарищах моих по вагону, подобно мне бежавших с поля славы.

Женя Литвинов, увлеченный политикой (так же, как в свое время литературой), выписывал чуть ли не все газеты, выходящие в Москве и Петрограде.

Почти одновременно появились в левозэсеровском «Знамени труда» — «Скифы», «Двенадцать» и есенинские «Преображение» с «Инонией».

У Есенина тогда «лаяли облака», «ревела златозубая высь», богородица ходила с хворостиной, «скликающая в рай телят», и, как со своей рязанской коровой, он обращался с богом, предлагая ему «отелиться».

Радуюсь его стиху, силе слова и буйствующему крестьянскому разуму, я всячески силился представить себе поэта Сергея Есенина.

И в моем мозгу непременно возникал образ мужика лет под тридцать пять, роста в сажень, с бородой как поднос из красной меди.

Месяца через три я встретился с Есениным в Москве...

Хочется еще разок, напоследок, помянуть Женю Литвинова.

В двадцатом году мельком я увидел его на Кузнецком.

Он только что приехал в Москву и привез с собой из Пензы три дюжины столовых серебряных ложек.

В этих ложках сосредоточился весь остаток его немалого когда-то достояния. Был он купеческий сынок — каменный дом их в два этажа стоял на Сенной площади, и всякого добра в нем вдоволь.

Приехал Женя Литвинов в Москву за славой. На каком поприще должна была прийти к нему слава, он так хорошенько и не знал. Казалось ему (по мне судя и еще по одному своему гимназическому товарищу, Молабуху, разъезжавшему в качестве инспектора Наркомпути в отдельном салон-вагоне), что на пензяков в Москве слава валится прямо с неба.

Ежедневно, ожидая славы, Женя Литвинов продавал одну столовую ложку. Последний раз я встретил его в конце месяца со дня злосчастливого приезда в Москву. У него осталось шесть серебряных ложек, а слава все не приходила. Он прожил в столице еще четыре дня. На последние две ложки купил обратный билет в Пензу.

С тех пор я больше его не встречал. Милая моя Пенза! Милые мои пензюки!

2

Первые недели я жил в Москве у своего двоюродного брата Бориса (по-семейному Боб) во 2-м Доме Советов (гост. «Метрополь») и был преисполнен необычайной гордости.

Еще бы: при входе на панели матрос с винтовкой, за столиком в вестибюле выдает пропуска красногвардеец с браунингом, отбирают пропуска два красноармейца

с пулеметными лентами через плечо. Красноармейцы похожи на буров, а гостиница первого разряда на таинственный Трансвааль. Должен сознаться, что я даже был несколько огорчен, когда чай в номер внесло мирное существо в белом кружевном фартучке.

Часов в двенадцать ночи, когда я уже собирался натянуть одеяло на голову, в номер вбежал маленький легкий человек с светлыми глазами, светлыми волосами и бородкой, похожей на уголок холщовой скатерти.

Его глаза так весело прыгали, что я невольно подумал: не играл ли он перед тем, как войти сюда, на дворе в бабки, бил чугункой без промаха, обобрал дочиста своих приятелей и явился с карманами, оттопыренными от козен и медяков, что ставили «под кон»? Одним словом, он мне очень понравился.

Бегая по номеру, легкий человек тот наткнулся на стопку книг. На обложке верхнего экземпляра жирным шрифтом было тиснуто: «ИСХОД» и изображен некто звероподобный (не то на двух, не то на четырех ногах), уносящий голубыми лапищами в призрачную даль бахчисарайскую розу, величиной с кочан красной капусты. В задание художника входило отразить мировую войну, февральскую революцию и октябрьский переворот.

Мой незнакомец открыл книжку и прочел вслух:

Милая,
Нежности ты моей
Побудь сегодня козлом отпущения.

Трехстишие называлось поэмой, и смысл, вложенный в него, должен был превосходить правдивостью и художественной силой все образы любви, созданные мировой литературой до сего времени. Так, по крайней мере, полагал автор.

Каково же было мое возмущение, когда наш незнакомец залился самым непристойнейшим в мире сме-

хом, сразу обнаружив в себе человека, ничего не смыслящего в изящных искусствах.

И в довершение, держась за животики, он воскликнул:

— Это замечательно... Я еще никогда в жизни не читал подобной ерунды!..

Тогда Боб, ткнув пальцем в мою сторону, произнес:

— А вот и автор.

Незнакомец дружески протянул мне руку. Когда минут через десять он вышел из комнаты, унося на память с собой первый имажинистский альманах, появившийся на свет в Пензе, я, дрожа от гнева, спросил Бориса:

— Кто этот...?

— Бухарин! — ответил Боб, намазывая вывезенное мною из Пензы сливочное масло на кусочек черного хлеба.

В тот вечер решила моя судьба. Через два дня я уже сидел за большим письменным столом ответственного литературного секретаря издательства ВЦИК, что помещалось на углу Тверской и Моховой.

Стоял теплый августовский день. Мой стол в издательстве помещался у окна. По улице ровными каменными рядами шли латыши. Казалось, что шинели их сшиты не из серого солдатского сукна, а из стали. Впереди несли стяг, на котором было написано:

Мы требуем массового террора.

Меня кто-то легонько тронул за плечо:

— Скажите, товарищ, могу я пройти к заведующему издательством Константину Степановичу Еремееву?

Передо мной стоял паренек в светлой синей поддевке. Под синей поддевкой белая шелковая рубашка. Волосы волнистые, желтые, с золотым отблеском. Большой завиток как будто небрежно (но очень нарочно) падал на лоб. Завиток придавал ему схожесть с мо-

лоденьким хорошеньким парикмахером из провинции. И только голубые глаза (не очень большие и не очень красивые) делали лицо умнее — и завитка, и синей поддевички, и вышитого, как русское полотенце, ворота шелковой рубашки.

— Скажите товарищу Еремееву, что его спрашивает Сергей Есенин.

3

В Москве я поселился (с гимназическим моим товарищем Молабухом) на Петровке, в квартире одного инженера.

Пустил он нас из боязни уплотнения, из страха за свою золоченую мебель с протертым плюшем, за массивные бронзовые канделябры и портреты предков (так называли мы родителей инженера, развешанных по стенам в тяжелых рамах).

Надежд инженера мы не оправдали. На другой же день по переезде стащили со стен засиженных мухами предков, навалили их целую гору и вынесли в кухню.

Бабушка инженера, после такой большевистской операции, заподозрила в нас тайных агентов правительства и стала на целые часы прилипать старческим своим ухом к нашей замочной скважине.

Тогда-то и порешили мы сократить остаток дней ее бренной жизни.

Способ, изобретенный нами, поразил бы своей утонченностью прозорливый ум основателя иезуитского ордена.

Развалившись на плюшевом диванчике, что спинкой примыкал к замочной скважине, равнодушным голосом заводили мы разговор такого, приблизительно, содержания:

— А как ты думаешь, Миша, бабушкины бронзовые канделяберы пуда по два вытянут?

— Разумеется, вытянут.

— А не знаешь ли ты, какого они века?

— Восемнадцатого, говорила бабушка.

— И будто бы работы знаменитейшего итальянского мастера?

— Флорентийца.

— Я так соображаю, что, если их приволочь на Сухаревку, пудов пять пшеничной муки отвалят.

— Отвалят.

— Так вот пусть уж до воскресенья постоят, а там и поташим.

— Поташим.

За стеной в этот момент что-то плюхалось, жалобно стонало и шаркало в безнадежности туфлями.

А в понедельник заново заводили мы разговор о «канделяберах», сокращая ничтожный остаток брэнной бабушкиной жизни.

Вскоре раздобыли себе и сообщников на это гнусное дело.

Стали бывать у нас на Петровке Вадим Шершеневич и Рюрик Ивнев. Завелись толки о новой поэтической школе образа.

Несколько раз я перекинулся в нашем издательстве о том мыслями и с Сергеем Есениным.

Наконец было условлено о встрече для сговора и, если не разбредемся в чувствовании и понимании словесного искусства, для выработки манифеста.

Последним, опоздав на час с лишним, явился Есенин. Вошел он запыхавшись, платком с голубой каемочкой вытирая со лба пот. Стал рассказывать, как бежал он вместо Петровки по Дмитровке, разыскивая дом с нашим номером. А на Дмитровке вместо дома с таким номером был пустырь; он бежал вокруг пустыря, злился и думал, что все это подстроено нарочно, чтобы его обойти, без него выработать манифест и над ним же потом посмеяться.

У Есенина всегда была болезненная мнительность. Он высасывал из пальца своих врагов; каверзы, которые против него будто бы замышляли; и сплетни, будто бы про него распространяемые.

Мужика в себе он любил и нес гордо. Но при мнительности всегда ему чудилась барская снисходительная улыбочка и какие-то в тоне слов неуловимые ударения.

Все это, разумеется, было сплошной ерундой, и щетинился он понапрасну.

До поздней ночи пили мы чай с сахарином, говорили об «изобретательном» образе, о месте его в поэзии, о возрождении большого словесного искусства «Песни песней», «Калевалы» и «Слова о полку Игореве». У Есенина уже была своя классификация образов. Статические он называл заставками, динамические, движущиеся — корабельными, ставя вторые несравненно выше первых; говорил об орнаменте нашего алфавита, о символике образной в быту, о коньке на крыше крестьянского дома, увозящем, как телегу, избу в небо, об узоре на тканях, о зерне образа в загадках, пословицах и сегодняшней частушке.

Формальная школа для Есенина была необходима. Да и не только для него одного. При нашем бедственном состоянии умов поучиться никогда не мешает.

Один умный писатель на вопрос: «Что такое культура?», рассказал следующий нравоучительный анекдот:

— В Англию приехал богатейший американец. Ездил по стране и ничему не удивлялся. Покупательная возможность доллара делала его скептиком. И только один раз, пораженный необыкновенным газоном в родовом парке английского аристократа, спросил у садовника, как ему добиться у себя на родине такого газона.

— Ничего нет проще, — отвечает садовник, — вспашите, засейте, а когда взойдет, два раза в неделю стригите машинкой и два раза в день поливайте. Если так станете делать, через триста лет у вас будет такой газон.

Всей русской литературе один век с хвостиком. Прозой пишем хорошо, когда переводим с французского.

Не ворчать надо, когда писатель учится форме, а радоваться.

Перед тем как разбрестись по домам, Есенин читал стихи. Оттого ли, что кричал он, ввергая в звон подвески на наших «канделяберах», а себя величал то курицей, снесшейся золотым словесным яйцом, то пророком Сергеем; от слов ли, крепких и грубых, но за стеной, где почивала бабушка, что-то всхлипнуло, простонало и в безнадежности зашаркало шлепанцами по направлению к ватерклозету.

4

Каждый день, часов около двух, приходил Есенин ко мне в издательство и, сядясь около, клал на стол, заваленный рукописями, желтый тюречок с солеными огурцами. Из тюречка на стол бежали струйки рассола.

В зубах хрустело огуречное зеленое мясо, и сочился соленый сок, расплзаясь фиолетовыми пятнами по рукописным страничкам. Есенин поучал:

— Так, с бухты-барухты, не след идти в русскую литературу. Искусную надо вести игру и тончайшую политику.

И тыкал в меня пальцем:

— Трудно тебе будет, Толя, в лаковых ботиночках и с проборчиком волосок к волоску. Как можно без поэтической рассеянности? Разве витают под облатками в брючках из-под утюга! Кто этому поверит? Вот смотри — Белый. И волос уже седой, и лысина величиной с вольфовского однотомного Пушкина, а перед кухаркой своей, что исподники ему стирает, и то вдохновенным ходит. А еще очень невредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят... Каждому надо доставить свое удовольствие. Знаешь, как я на Парнас восходил?..